

Спор из-за книг Н. Я. Данилевского¹

I.

Общий ход и характер спора.

После долгого молчания, г. Тимирязев на мою статью „*Всегдашняя ошибка дарвинистов*“ (Русск. Вестн. 1887 г., ноябрь и декабрь) отвечал статьею „*Бессильная злоба антидарвиниста*“ (Русск. Мысль, 1889 г., май, июнь и июль). В этой обширной статье г. Тимирязев поставил себе одною из главных целей подробно указать на все, что он нашел обидного для себя в моей статье, а также разъяснить, что он понес все эти обиды незаслуженно, следовательно по одной лишь моей ужасной „злобе“. Вот, например, как он выражается в самом конце, в виде общей характеристики: „вся статья г. Страхова“ — „переполнена потоками брани и ничем не вызванных оскорблений“ (июль, стр. 72). Подумайте только, читатель: *потоки брани и оскорблений!*

Разумеется, мой противник не остался в долгу; он постарался совершенно засыпать меня „бранью и оскорблениями“, тщательно доказывая, что я этого именно и стою.

Что же мне теперь делать? Обвинить г. Тимирязева в непомерной обидчивости и горячности? Доказывать читателям, что я ничуть не дышу злобой и веду дело добросовестно, а что мой противник — истинный злодей, неистовый человек, который в ослеплении ярости все путает и Бог знает в чем обвиняет меня?

Какая жалость! Наша полемика, по-видимому, грозит перейти в простую личную перебранку. Не того я ожидал и не того имеют право требовать от нас читатели. Вопросы, поставленные на решение книгами Н. Я. Данилевского — „Россия и Европа“ и „Дарвинизм“, так важны, что к ним не может оставаться равнодушным ни один русский образованный человек. Poleмика из-за этих книг была неизбежна; но каким же образом случилось, что она пришла теперь в такое плачевнейшее состояние? Какой грех нас попутал? Мне кажется, что об этом стоит немножко подумать.

Вспоминая теперь весь ход этого дела, я вижу, что оно с самого начала пошло неправильно. Уже первые мои ожидания были жестоко обмануты. Когда, вот уже скоро три года тому назад, я узнал, что против „Дарвинизма“ читал лекцию г. Тимирязев, а также, когда потом Вл. С. Соловьев известил меня, что он пишет против „России и Европы“, то первое чувство мое, и в том и в другом случае, была наивная радость, что дорогая мне книга встретила такого достойного противника, имеющего право и возможность серьезно вести это дело. Но потом мне пришлось горько пожалеть. Оба противника, как оказалось, сочли ниже своего достоинства рассматривать вопросы, поставленные Н. Я. Данилевским. Совершенно не соглашаясь с его взглядами, они опровергали его очень просто, — доказывали, что он вовсе не имеет права судить о предметах, о которых писал. А именно, один из критиков доказывал „малое знакомство Данилевского с данными истории и

¹ «Русский Вестник», СПб, декабрь 1889г., с. 187-203

филологии“, а другой настаивал на его „дилетантизме“ в естественных науках, и особенно на недостатке логики.

Таким образом, уже с начала спора, можно сказать, устранялись самые вопросы, поставленные на обсуждение. Критики вовсе и не думали исполнить обязанностей, на которые им указывало содержание опровергаемых книг. „Россия и Европа“ есть взгляд на всемирную историю, основанный на начале национальности. Следовательно, для опровержения, критик обязан был рассмотреть, какую роль играет национальность во всемирной истории, и показать, что это *не та* роль, какую приписывает этому началу автор книги. „Дарвинизм“ есть полное и связанное опровержение теории Дарвина. Следовательно, критик, восставший на эту книгу, обязан был вообще рассмотреть, какую силу имеют возражения, до сих пор возбуждаемые теорией Дарвина, и показать, что они не имеют *той* решительной силы, какую им приписывает Данилевский. Вот те задачи, которые предстояли опровергателям, и без выполнения которых не может выйти никакого действительного опровержения. Если бы дело шло даже о слабых книгах, дурно развивающих свои основные мысли, то и это не изменяло бы задачи их противников. Критик, желающий опровергнуть какую-нибудь мысль, должен во всяком случае рассматривать ее в ее строгом и полном виде, и никак не имеет права отвергать ее на основании только промахов и недостатков, с какими она явилась у автора. Но книги Н. Я. Данилевского не слабые, а превосходные; они так глубоко обдуманы, так ясно и отчетливо развивают мысли, положенные в их основание, что нельзя не подивиться тому пренебрежению, какое показали к этим книгам критики. Ни г. Тимирязев, ни г. Соловьев не увидели для себя в них серьезной задачи; они посмотрели на них высокомерно, почти как на какие-то дикие явления, как на создания нашего невежества и отсталости от Европы, достойные разве только негодования, а не опровержения².

На их громкие статьи я постарался возразить как можно тверже и обстоятельнее. Но тогда вышло еще хуже. И г. Соловьев, и г. Тимирязев оба отвечали мне с непомерною горячностью, но оба при этом уже совершенно ушли от предмета спора, то есть от книг Данилевского. Они, очевидно, отвечали только *мне* и защищали только *себя*. Они остановились на порицаниях, которые им послышались, или которые им действительно высказаны в моих статьях; они доказывали ложность и неосновательность этих порицаний, а вместе анализировали некоторые нравственные мои недостатки, например, *равнодушие к истине, злобу, беззастенчивость* и т. д. О книгах же Данилевского упоминалось лишь вскользь и мимоходом.

Между тем, по совести, статьи мои своим содержанием могли дать повод к лучшим ответам. В статье „Всегдашняя ошибка“ я старался дать читателям законченное и связанное опровержение теории Дарвина, сделанное по руководству

² Как на пример более правильного отношения, можно с удовольствием указать на статью г. Кареева — *Теория культурно-исторических типов* (Русск. Мысль, 1889 г., сент.). Мы говорим не о достоинстве содержания, а о правильности общего приема статьи. Тут, по крайней мере, автор взглядам Данилевского ясно противопоставляет свои собственные взгляды на ход истории. В заключение он, однако же, признает, что, вообще „Данилевский совершенно основательно вооружился против обычного построения всемирной истории и высказал по этому поводу много верных замечаний“ (стр. 19), и что „теория культурно-исторических типов не лишена, конечно, многих верных мыслей“ (стр. 32). Суждение критика, полагаем, было бы, еще благосклоннее, если бы он перестал подозревать везде „субъективность“ Данилевского и не смотрел бы с таким ужасом на всякое „славянофильство“. Не могу не пожалеть также, что автор не обратил внимания на моя статьи „Наша культура и всемирное единство“ (Русск. Вестн. 1888, июнь) и „Последний ответ г. Вл. Соловьеву“ (Русск. Вестн. 1889, февр.), где уже устранены, как мне думается, иные возражения, выставляемые им теперь. Остальные также, надеюсь, возможно или устранить или согласовать с теорией типов. Все дело зависит от более точной и ясной постановки понятий, и правильный спор может только содействовать такой постановке.

книги Н. Я. Данилевского. Статья „Наша культура“ есть также связный и законченный комментарий на книгу „Россия и Европа“. Худо или хорошо это выполнено — другой вопрос; но я воспользовался возражениями, чтобы разъяснить самую существенную сторону дела, и потому имел право надеяться, что мои противники тоже не станут отступать от предмета.

Но вот мне и скажут: зачем же вы вели полемику в таком горячем тоне, что ваши противники раздражались и забыли предмет спора? Не вы ли сами испортили дело? Этот упрек, я думаю, не вовсе лишен основания; постараюсь хоть сколько-нибудь извинить себя перед читателями. Такие случаи, как лекция г. Тимирязева и переход г. Вл. Соловьева в западнический лагерь, не могли не возбудить во мне большого беспокойства и огорчения. Что такое была лекция г. Тимирязева? Он, в моей статье, той самой статье, которую иные ставили даже в пример вежливой полемики, открыл целые „потоки брани и оскорблений“. Из этого читатели могут только видеть, как обидны бывают возражения, как больно может действовать даже легкая ирония, или простое возвышение тона. Но если так, то лекцию г. Тимирязева мы имеем право назвать неизмеримо более бранчивой и оскорбительной, чем моя статья. Эта лекция была резким и презрительным порицанием. И против кого оно было направлено? Г. Тимирязев, в последней своей статье, извиняет „страстность“ своей полемики тем, что он защищал Дарвина, которого „личность не была ему вполне чуждой“ (июль, стр. 73). Но если так, то мое огорчение за Данилевского имело в тысячу раз больше оснований. Разве Дарвин подвергался какой-нибудь опасности? Разве нужны были какие-нибудь усилия, чтобы спасти его книги и теории от гибели и забвения? Между тем, книге Данилевского грозила именно эта крайняя беда; могло случиться, что превосходный труд будет оставлен вовсе без внимания, пройдет незамеченным; лекция г. Тимирязева, очевидно, внушала слушателям, что эту книгу ни мало не стоит заниматься. Тут было из-за чего бояться и волноваться.

Нечто подобное испытал я и при появлении статьи г. Вл. Соловьева, которое как раз совпало с выходом нового издания „Россия и Европа“. И для этой книги, хотя уже выдержавшей мучительный пятнадцатилетний искус первого издания, тоже была некоторая опасность. А то обстоятельство, что при этом случае г. Вл. Соловьев примкнул к западническому лагерю, удесятерило мое огорчение. Мои противники вероятно меньше бы на меня гневались, если бы сами хорошенько знали, до какой степени выгодно их положение в этом лагере, как они страшны в своей позиции для явлений подобных книгам Данилевского. И они, конечно, не догадываются, к чему приводят их действия, когда они из этой позиции с такою легкостью привлекают к себе общее внимание и возбуждают восторги. Но уже многие годы печальный ход этого дела для меня ясен, и если я был резок, то потому, что меня как будто толкнули в давно наболевшую рану. Когда наши писатели начинают ссылаться на авторитет Запада, когда раздаются, как у моих противников, речи о „лучших умах Европы“, о „могучем движении Европейской науки“, о „гигантах научной мысли“, то я не могу слышать этого равнодушно, ибо хорошо понимаю, как это действует. Я знаю, что и юноши, и старики, и женщины вдруг шалеют от этих речей, что в их глазах начинает ходить светлый туман, что они теряют способность что-нибудь ясно видеть и правильно понимать. Тогда их можно уверить, что на Западе скоро, очень скоро, завтра же, сбудутся самые лучшие чаяния нашего сердца и разрешатся самые высокие запросы нашего ума. О России же, если вы скажете, что ее история не имеет никакого содержания, что ее религия была и есть одно суеверие, что у нас нет ни единого здравого общественного начала, что русские даже не способны иметь ум и совесть, а всегда имели и теперь имеют одну подлость, — то такие речи будут приняты с истинным восторгом.

Вот почему, писатели, вздумавшие играть на этих струнах, так глубоко меня возмущают. Дело тут не в „узком патриотизме“, а в жестоком вреде, который происходит от этого ошаления, от действительного ослепления, находящего на умы. Разве эти западники и все эти западничаствующие имеют ясные понятия о Западе? Да обыкновенно они пропускают мимо лучшие его сокровища, и для них бывает чуждо самое великое и глубокое, чего там достигла душа человеческая. Они ведь бросаются лишь на то, что там популярно, на репутации, созданные без умолку кричащею и как море разливающеюся прессою, которая живет лишь настоящею минутою, все преувеличивает и ни во что не углубляется. Они безусловно верят в прогресс Запада, и, хватаясь за то, что там шумит и проповедывается в последнюю минуту, ничего не знают о смысле этих явлений, ибо не знают долгой и многообразной жизни, которая их породила. Так и выходит, что они не умеют различать там дурного от хорошего и принимают падение за успех, остановку за развитие, болезнь и гниение за жизненное процветание. Чтобы понимать и ценить Запад, нужен большой и долгий труд, и, конечно, прежде всего не нужно быть западником. Не думает ли г. Вл. Соловьев, что своими статьями „Из истории русского сознания“, в которых он преимущественно доказывает, что никакого „сознания“ у нас не было, он возбудит внимание читателей к религиозной жизни Запада? Если так, то, по моему мнению, он очень ошибается; он этими статьями только плодит поклонников Конта и Спенсера.

Ослепление, производимое западничеством, еще плачевнее, когда дело идет о явлениях русской умственной жизни. Эти явления не возбуждают у нас и сотой доли того внимания, каким окружены иностранные. Когда у нас кто-нибудь желает блистать ученостью, то разукрашивает свою книгу или статью всякими иностранными именами, между которыми и посредством идут за знаменитостей, но ни за что не сошлется на русскую книгу. Русскому ученому, чтобы приобрести известность, нужно печататься на иностранных языках, ехать в Париж или Берлин и там добывать себе признание³. Нашу изящную литературу мы стали как следует уважать только с тех пор, как ее превозносят французы, горячо желающие союза с Россиею, и потому принявшие читать переводы с русского. А если дело идет о мыслителях, то самобытные и новые взгляды наша просвещенная публика встречает не одним невниманием, а прямо гонением. Нужны десятки лет, чтобы иная прекрасная книга пробилась себе дорогу среди людей, воображающих, что они умеют думать и вести себя по-европейски. Упорное замалчивание, брань и насмешки, гнусные обвинения — вот чем долгие годы сопровождается имя писателя, достойного чести и внимания. И русский юноша, в порыве того неопределенного энтузиазма, который он не знает куда приложить, с презрением отталкивает книгу, в которой мог бы найти великое поучение. Так было с славянофилами, с учением которых до сих пор связана дурная слава, созданная ему бесконечными нападками. Так было с Аполлоном Григорьевым, так было и с книгою „Россия и Европа“. Нужна бодрость и вера, чтобы писать при таком порядке дел. Но проходят годы, и терпеливый писатель наконец умирает; не грустно ли подумать, что до самого конца он ни разу не был утешен отрадной мыслью, что на его любимые взгляды и долгие труды обращено общее внимание? Так умер Н. Я. Данилевский.

³ Хотя я считал себя знатоком по части нашего идолопоклонства, но, по случаю настоящего спора, обнаружился факт, который, был для меня неожиданностью и до сих пор продолжает удивлять меня. Оказалось, что у нас существует такое „благоговение“ к Дарвину, при котором тон книги Н. Я. Данилевского выходит неприличным, оскорбительным. В этом отношении г. Фаминцын согласен с г. Тимирязевым. Что тут делать? Тон *свободного* человека, который спокойно и противоречит, и шутит, и соглашается, всегда составляет великую обиду для суеверного поклонения.

Не простят ли мне теперь читатели, что на лекцию г. Тимирязева и на статью г. Вл. Соловьева я был не в силах отвечать благодушными рассуждениями, или же таким хладнокровным порицанием, которое было бы несравненно сильнее всякой горячности?

II.

Отвечать мне не на что, как я уже сказал, потому что мои противники ушли от предмета спора⁴. Но, может быть, читатель пожелает узнать, как же они сделали это уклонение, и как они меня бранят? Вопросы эти не очень важные, и я постараюсь быть кратким.

В ответной своей статье, г. Вл. Соловьев среди других обвинений и порицаний, высказал такое: „о самых существенных моих возражениях искусный критик старательно умолчал“ (*Вестник Евр.* 1889, янв., стр. 368). Казалось бы, это есть самый существенный упрек моей статье. Но, так как мой противник высказал его мимоходом, не пояснил ни единым словом и больше к нему не возвращался, то спорить против такого голословного заявления было невозможно; да я и не мог догадаться, о чем идет речь. Мало ли что может показаться существенным? Опровергаемому автору естественно думать, что то, что у него опровергнуто, не важно, а то, что осталось нетронутым, то-то и есть самое главное, что злодей-противник нарочно пропустил лучшие перлы и алмазы.

В „Последнем ответе“ я и не говорил об этом упреке, вообще же заявил, что „все мои доказательства остаются в полной силе“. Тогда мой противник не стал с этим спорить, но вспомнил свой главный аргумент. В маленькой статье „Письмо в редакцию“ (*Вестн. Евр.* март) он говорит: „Н. Н. Страхов никак не мог меня опровергнуть, по той простой причине, что о главных моих возражениях он даже вовсе не упоминает“.

Казалось бы, тут уже непременно следовало бы пояснить, что это за главные возражения, и почему они главные, а не те, которые я разбирал. Но вместо того, мой противник вдруг заявляет, что „разрешить такое противоречие могут, конечно, только читатели“, а что „ему остается“ одно средство, — указать места, где находятся у него главные возражения. — И что же он указывает? Цифры разных страниц своей статьи, всего до десяти страниц. Поставивши ряд этих цифр, он потом решительно заключает: „Затем уже было бы совершенно излишне возвращаться к тому, что Н. Н. Страхов называет своими „доказательствами“.

Вот как просто разрешилось это дело. Удивительно только, почему он меня не посрамил этим с самого начала. Если бы точно мои опровержения не касались никаких главных пунктов, то этим самым статья моя была бы сразу подрезана под корень.

Но только это ведь нужно доказывать, а не утверждать голословно. Ну что теперь будут делать бедные читатели? Им вдруг сказали: почитайте-ка такие-то десять страниц, да сравните их с остальными восьмидесятью, и с тем, что пишет мой противник, да взвесьте все хорошенько; тогда вы и увидите, что всего важнее в нашем споре, и как не важны пункты, которые мой противник принял за главные; этих, указаний совершенно довольно, чтобы вам убедиться в моей правоте.

Вот каким образом г. Вл. Соловьев ушел от существенного предмета полемики, голословно заявляя, что ему не нужно ничего опровергать. Голословные утверждения всегда позволительны, и их избежать невозможно. Нехорошо только одно, — когда они признаются за нечто вполне доказанное и когда никаких других

⁴ Прошу припомнить, что и в статье „Последний ответ“ (*Русс. Вестн.* 1889 г., февр.) я собственно не отвечал г. Вл. Соловьеву, а воспользовался его статьею только для того, чтобы разъяснить, некоторые недоразумения относительно книги „Россия и Европа“.

оснований для дальнейшего суждения не имеется. Так и у моего противника нет других оснований на то, что он, будто бы, „доказал историческую и логическую неосновательность теории культурных типов“. (там же, стр. 432).

III.

Г. Тимирязев не принимает ни одного моего аргумента, то есть ни одного из них он не признает за серьезное возражение, которое стоило бы серьезно опровергать. Всю книгу Данилевского „Дарвинизм“ он считает основанною „на двух-трех жалких софизмах“ (май, стр. 18). Словом, он ведет дело так, как будто и не может быть никаких достойных внимания возражений против теории Дарвина, как будто возражать против нее то же, что, например, пытаться опровергать систему Коперника. Поэтому, в моих рассуждениях он находит лишь „софистическую эристику“, „диалектические фокусы“, „гипнотизирование читателей“ и т. п.

Мне следовало бы теперь, чтобы защищаться, опять излагать и разъяснять свои возражения. Считаю это совершенно излишним, так как полагаю, что изложил их с достаточною ясностью, и так как мой противник, который признал мои вопросы как бы нелепыми и потому не пошел на них, тем самым отнял у себя возможность сказать что-нибудь новое в пользу Дарвиновой теории, и повторяет лишь то, что уже говорил.

Но в его нападениях есть еще особая черта, на которой нельзя не остановиться. Он часто прямо объявляет, или что он меня не понимает, или что не видит никакой связи между моими суждениями, а иногда он даже отказывается их разбирать. Так, говоря о главе, носящей название „Стереотип“, он пишет: „для чего понадобилась г. Страхову эта аллегорическая личность, — так для меня и осталось непонятным“ (май, стр. 33). В силу этого, конечно, и вся моя глава пропала даром. Между тем, я думаю, всякому знакомы такие выражения, что наследственность *стереотипно* повторяет родовые и видовые признаки, и т. п.

Далее мне делается упрек, что я привожу „выписки из Негели, к делу не относящиеся, лишь бы в них были выражения неодобрительные для дарвинизма“ (май, стр. 38). Не стану вновь указывать, к какому делу относятся эти выписки; повторю только, что Негели мне вовсе не нужен был как авторитет, и что напрасно г. Тимирязев потратил столько доказательств чтобы понизить ученое значение Негели; мне нужен был только человек, которого нельзя было бы назвать „дилетантом“ с высоты какого-нибудь другого авторитета.

Несколько далее, мой противник вовсе отказывается от разбора моей главы „Скрещивание“. Хотя он посвятил ей больше двух страниц, но на второй странице говорит: „не стану утомлять читателя *разоблачением всех изворотов*, к каким прибегает г. Страхов для того, чтобы спасти безнадежную аргументацию Данилевского“ (май, стр. 46). Между тем, это самая важная глава в нашем споре; ибо, тут излагается *теория ограниченного скрещивания*, которую придумал г. Тимирязев для защиты Дарвина, тут объясняется закон, по которому действует в этом вопросе скрещивание, тут показывается взаимное противоречие предположений, которые сделал г. Тимирязев в свою пользу. Эта глава направлена против самого центра его аргументации, между тем она не разобрана, а только голословно названа *утомительными изворотами*.

Через несколько страниц, опять прямое сознание в непонимании. „Приводится“, сказано, „ряд выписок из Негели, из которых читателю понятно только то, что Негели *в чем-то* не согласен с Дарвином, но в чем именно и на каком основании, из этих глухих отрывочных выписок, конечно, *ничего понять невозможно*“ (май, стр. 61).

Затем, укажу на следующие места: „г. Страхов на полустранице развивает какую-то *темную теорию*“ (июнь, стр. 67); „если не могу ответить на спорный вопрос, то поговорю *о другом, рядом стоящем*“, — рассуждает он (стр. 70); „он отвлекает внимание читателя *совершенно в сторону*“ (стр. 78); „при помощи разговора о совершенно *к делу не относящихся побочных обстоятельствах* он увильнул от сущности вопроса“ (стр. 79); „в *бесконечно-запутанном изложении*, извивающемся и ускользающем из рук, как уж, г. Страхов, пытается“ и пр. (июль, стр. 70)⁵.

Приведу еще следующую отговорку; „г. Страхов укоряет меня, зачем я не проникся каким-то сравнением Данилевского с игрою в банк; должен покаяться, что все, касающееся карт, для меня тарабарская грамота, да и между знакомыми не нашлось сведущих людей по этой части“ (стр. 79). На этом основании г. Тимирязев отказывается вникать в соображение вероятностей, весьма важное для дела.

Из всех этих выдержек, а еще яснее из полного текста, откуда они взяты, видно, что действительно мой противник часто или вовсе не входит в смысл моих рассуждений, или теряет их связь и находит в них одну путаницу. Поэтому очень естественно, что в конце он о моей статье произносит следующий общий приговор:

„Так или иначе, но по всей статье сквозит один прием, одно неизменное стремление: запутать, затемнить дело в глазах читателя, лишить читателя возможности самому разобраться, составить себе ясное понятие о предмете спора“ (июль, стр. 77).

И так, в моей статье господствует темнота, путаница и всякое другое препятствие к ясному понятию о деле. Приговор жестокий, но ведь он допускает двойное истолкование. Когда мы невнимательны, или когда очень заняты чем-нибудь другим, то самые ясные речи бывают для нас невразумительны, и аргумент, требующий прочтения двух страниц, кажется только несносным препятствием для дела. Вообще, есть много различных причин для непонимания, а не всегда один автор виноват. Мне естественно думать, что если г. Тимирязев меня не понял, то виноват не я, а он; и далее, что если он меня не понял, то и не мог опровергнуть. Мне позволительно утешаться мыслью, что нашлись и найдутся читатели более внимательные и снисходительные, чем мой критик, и что они поймут мои рассуждения, поймут и то, что значит у меня *стереотип*, для чего приводятся выписки из Негели, что содержится в „*утомительных изворотах*“, и даже, какое соображение поясняется посредством трудной игры в банк. Тогда окажется, что ссылка на непонимание есть оружие, которым гораздо легче поранить себя, чем противника.

IV.

Как меня бранят.

Мои противники, конечно, больше бы вникали в мои рассуждения и серьезно входили бы со мною в разбирательство, если бы они не пришли очень быстро к мысли, что дело ведется мною недобросовестно. Обвинил меня в недобросовестности первый Вл. С. Соловьев, а потом, отчасти ссылаясь на него, г. Тимирязев стал уже распространять это обвинение почти на каждое мое слово. В моей статье, по его мнению, все фальшиво и злоумышленно. Он нигде не хочет видеть выражения моей искренней мысли, не признает за мною даже искреннего заблуждения. В одном месте, он пишет обо мне: "понимать-то он понимает, в чем дело, но может отвечать так, как будто и не понял" (июнь, стр. 79).

⁵ Курсив везде, разумеется, мой.

Какое странное явление! С какой стати стал бы я лгать и обманывать, заведомо строить софизмы, умышленно искажать дело? Чего же это мне так захотелось? Разве не было бы через чур глупо прибегать к подобным средствам, чтобы блеснуть перед публикою, или чтобы защищать дорогую мне память покойного писателя?

И неужели такие обвинения можно произносить так легко, не задумываясь, как будто это самое обыкновенное дело? Довольно ли о том подумали мои противники? Этот избыток подозрительности, сам по себе, ведь не говорить еще в пользу обвинителей, не доказывает их безупречной чистоты и правдивости.

Да и основательности, или того, что называется ученою добросовестностью, тут бывает мало. Спорящие часто забывают, что доказывать эти обвинения чрезвычайно трудно, и увлекаются тем, что их легко составлять. Рецепт для составления обвинений в недобросовестности следующий: если, по вашему мнению, вы нашли что-нибудь сказать в вашу пользу, или во вред противника, то утверждайте, что это самое ваш противник хорошо знал, но притворяется незнающим, что все свои собственные противоречия и нелепости он отлично видит, но нарочно выдает их за правильные рассуждения, что он прекрасно понимает силу и достоинство ваших доводов, но именно потому самые лучшие нарочно пропустил, а другие нарочно извратил или подменил. Словом, не говорите, что он сделал *ошибку*, а утверждайте, что он сделал *обман*.

Подобными речами можно без труда тешить свое недоброжелательство и раздражение; но обыкновенно они доказывают только крайнюю неспособность войти в мысли противника, стать на его точку зрения. Когда мы вникаем в ошибку и раскрываем ее, то это полезно, и мы тут опираемся на логику и факты. Но, вообразив, что перед нами обман, мы почти без исключения ничем этого не можем доказать, кроме нашего подозрения и желания видеть противника в дурном свете, а между тем мы перестаем следить за нитью заблуждения. Гораздо выгоднее для дела давать речам противника самый большой вес, какой только в них может вместиться.

Единственная польза, которую я извлек из нападок г. Тимирязева на мою недобросовестность, заключается в том, это узнал об одной *описке*, мною сделанной. Делая выдержку из его статьи, я вместо „борьба с условиями“ поставил „борьба за существование“. Противник мой видит тут не описку, а умышленное искажение его текста и подробно рассматривает, в каких нелепостях я *мог бы* его обличать, приписав ему одно слово вместо другого. По истине, напрасный труд! Положим, и мог бы, да ведь я же не обличал, а продолжал рассуждать так, как будто в выдержке стоит подлинное слово. Если бы у моего противника не было такого желания размышлять о моих *возможных* злодействах, то он легко бы мог понять связь моей речи, и тогда убедился бы в моей *действительной* невинности. Когда буду перепечатывать свою статью, то я просто поправлю свою описку, не изменяя в остальном ни одного слова.

Не в виде похвалы, а только ради подтверждения своих мыслей, прибавлю одно; во всех случаях, когда мне приходилось вести полемику, сам я следовал тем правилам, которые теперь изложил; я не упрекал своих противников ни в непонятности, ни в недобросовестности. При таких условиях, я и считал полемику делом полезным, хотя и трудным в ее истинном виде.

V.

Опровержение теории из ее защиты.

Для заключения, сделаю несколько замечаний по существу дела, хотя это будет лишь повторение уже высказанных доводов.

Как видно из последней статьи г. Тимирязева, он продолжает настаивать на некоторых общих положениях, на которых основал свою защиту Дарвиновой теории. Он утверждает:

1) Что теория образования видов посредством подбора есть „необходимый логический вывод из наблюдаемой действительности“ (июль, стр. 76).

2) Что никакое индивидуальное изменение не может исчезнуть без следа в потомстве изменившегося организма, ибо *все сохраняется в природе*.

3) Что Дарвин никогда не предполагал, что естественный подбор может сохранять индивидуальные изменения в их чистом виде.

4) Что подбором сохраняются лишь измененные неделимые, явившиеся в некотором числе, например потомки организма, в котором появилось индивидуальное изменение. Таким образом, скрещивание даже необходимо для подбора.

5) Что так и Дарвин всегда предполагал, что изменения, подлежащие подбору, бывают не одиночные, а появляются в некотором числе. Поэтому напрасно говорят, что он сперва предполагал одиночный, а потом принужден был отступить от этого предположения.

6) Что „скрещиванию в природе кладется весьма скоро предел каким-то ближе нам неизвестным, но не подлежащим сомнению свойством организмов“ (май, стр. 40). Это открыл Негели, и из этого следует, что тут новая форма не будет поглощена старою, как настаивал Данилевский.

Все эти положения, по моему суждению, неверны и произвольны, кроме последнего, которое справедливо, но ничего не говорит в пользу Дарвина и против Данилевского. Ибо, если где-нибудь распадение форм происходит в силу „свойства организмов“, то, значит, оно не происходит от борьбы за существование, и Данилевский может оставаться вполне правым, доказывая, что, при одной лишь этой борьбе, скрещивание должно поглощать новые формы.

Неверность и произвольность остальных положений были уже мною доказываемы во „Всегдашней ошибки“. Повторяя их, автор теперь подкрепляет их разве только новыми сравнениями. Так, у него возможность Дарвиновского процесса происхождения видов приравнивается к возможности образования рек из атмосферных осадков; сохранение следов индивидуального изменения сравнивается с сохранением долей соли, растворяемой все в большем и большем количестве воды; совместное действие подбора и скрещивания поясняется ходом ядра, выстреленного из пушки. Всякое сравнение, как известно, есть некоторое обобщение и может повести лишь к нелепостям, если мы с полной точностью не обозначим, что есть общего в сравниваемых явлениях. „По Данилевскому и г. Страхову выходит“, пишет г. Тимирязев, „что, если существует земное притяжение, то, *значит*, ядро никогда не может вылететь из пушки“, (май, стр. 48). Можно отвечать: конечно не вылетит, если, пороху очень мало, и конечно, далее вылетевши, вернется назад в дуло, если пушка стоит вертикально, так что порох действовал прямо против направления силы тяжести. Сравнения и примеры, когда делаются без точности, ведут лишь к неопределенным обобщениям, т. е. ко всегдашней ошибке дарвинистов. Тогда и вся теория представляется „логическим выводом“, между тем как она есть лишь безмерно невероятная возможность. Кстати: этот „логический вывод“ в наилучшей его форме изложен самим Данилевским (*Дарвинизм*, ч. II, стр. 484 и сл.), для того именно, чтобы показать, чем обольщала умы теория Дарвина. Что касается до общего положения: „все сохраняется в природе“, то ведь ясно, что мы получим одну путаницу, если станем подводить под него все без разбора. „Г. Страхов спрашивает“, пишет г. Тимирязев, „что же сохраняется (когда мы говорим *кровь*) — материя, или энергия?“ (май, стр. 44). Прошу извинения, я этого не спрашивал, ибо твердо знаю, что и вещество и энергия сохраняются; напротив, об индивидуальном изменении

(новая кровь) я прямо говорил, что если оно могло возникнуть, то может и исчезнуть. Например, рост животного в последовательных поколениях может без конца колебаться, то уменьшаясь, то увеличиваясь. Тут нечему сохраняться. Это не то, что соль, количество которой не убывает от раствора, но никогда и не прибывает.

Но самое важное в положениях г. Тимирязева есть, конечно, новый вид, в котором является учение Дарвина, вид, названный мною „теорией ограниченного скрещивания“. Теория эта построена, очевидно, для избежания затруднений, указанных Данилевским; но, пытаясь определеннее указать кой-какие черты того процесса, который в общих формах предполагается Дарвином, она, в сущности, только обнаруживает невозможность этих предположений.

Главное затруднение состояло в том, что в природе никто не делает подбора, как его делают в конюшнях и голубятнях, и, следовательно, одиночное или очень малочисленное появившееся изменение должно исчезнуть вследствие скрещивания. Чтобы какое-нибудь изменение не исчезло, необходимо, чтобы оно появилось в значительном числе; между тем предполагать, что вдруг явится много одинаково измененных неделимых, нельзя, ибо тогда это не будет индивидуальное изменение, из которого должна исходить теория⁶. Поэтому г. Тимирязев и придумал прибегнуть к размножению. У него дело начинается все-таки с единичного случая, но потом, измененное неделимое скрещивается, плодится, и тогда подбору подлежит уже значительное число измененных неделимых, и он может дать им перевес над старою формою.

Но ведь это будет коренное отступление от предположений Дарвина. В самом деле, если мы представим, что случилось *крупное* изменение, что оно *упорно* передается наследственностью, что самая малая часть его крови дает его потомкам перевес над потомками других неделимых, да, кроме того, уменьшает расположение к скрещиванию, то, конечно, может образоваться новая порода. Но, в таком случае, мы должны будем сказать, что она образовалась в силу какого-то таинственного скачка в развитии организмов, а не тем процессом, какой указывал Дарвин. Ибо, для Дарвинова процесса нужно, чтобы изменения были *мелкие*, чтобы, в передаче наследственностью и в скрещивании, они *ничем не отличались* от других, и чтобы случайная их выгода была *незначительная*. Только в таком случае целесообразность новой формы получалась бы не *вдруг* (необъяснимым образом), а выводилась бы из накопления вовсе нецелесообразных, притом бессвязных и непоследовательных изменений, то есть получалось бы Дарвиновское объяснение целесообразности. Таким образом, г. Тимирязев, делая свои новые предположения, только показал, что это Дарвиновское объяснение невозможно, что нужно принять прямо *целесообразные скачки*, а иначе скрещивание поглотит всякий зачаток новой формы.

Если же обратим внимание на факты, в которых перед нами, совершается что-нибудь подобное выделению новых форм, то мы всегда найдем, что при этом происходит какой-то другой процесс, а не Дарвиновский, в котором, следовательно, если бы он был и возможен, *нет необходимости*. Так, из наблюдений Негели следует, что зачинающиеся разновидности разъединяются тем, что теряют способность к скрещиванию, а вовсе не подбором, дающим преобладание новой форме над старого. Так, когда наблюдаем сохранение во многих поколениях каких-нибудь особенностей (нос и подбородок Бурбонов), мы вовсе не замечаем при этом ни борьбы за существование, ни ограничения скрещивания. Вообще, всякая определенность, всякий закон, всякое правило, которые мы откроем в изменениях организмов, в ходе наследственности, в явлениях скрещивания и размножения, — *упраздняют* теорию Дарвина. Ибо, неперемное условие Дарвиновского

⁶ „Никто не станет утверждать, что все неделимые того же вида отлиты точь-в-точь по одной и той же форм. Эти индивидуальные отличия имеют для нас высокую важность, ибо они составляют материал для естественная подбора“. Darw. Orig. of sp. Chapt. II, в начале.

процесса — полная неопределенность во всех этих областях, полный хаос, из которого потом сам собою родится порядок, под действием единого определенного начала — пользы, то есть спасения от гибели.

В этом и весь спор: возник ли порядок мира сам собою из хаоса, как учил Эпикур, или же причина, образующая космос, есть разум, как учил Анаксагор?

Г. Тимирязев поставил мне в великую недобросовестность то, что я не указал на его понятие об истории, которое, по его мнению, чрезвычайно поясняет и подкрепляет теорию Дарвина. Вот это понятие: „историю делают люди с их страстями, ошибками, предрассудками, и — — однако — — из борющихся случайных единичных стремлений слагается величественный процесс исторического прогресса“ (май, стр. 33). Конечно, я не пропустил без внимания такого замечательного аргумента; не указал же я на него потому, что не хотел прерывать и усложнять своего изложения, между тем был уверен, что читатели, без всякой помощи, сами увидят всю поразительную неправильность этого понятия об истории. История не есть повесть о борьбе случайных стремлений, а изображает судьбы лишь одного стремления, всегдашних усилий человека на пути к знанию, правде и истинному благу. Прогресс совершается лишь этою внутреннею силою; от нее зависят его различные формы, его остановки и успехи, его болезни и победы. Так и органический мир есть создание некоторых внутренних сил; его формы возникают и развиваются закономерно и целесообразно, а не составляют случайных фигур, образующихся среди хаоса при всевозможных столкновениях его элементов.

Слава Богу, мне можно, кажется, прекратить эту полемику, которую я вел не по охоте, а по некоторому долгу. Книги Н. Я. Данилевского пользуются теперь большим и общим вниманием; можно, поэтому, надеяться, что они встретят критиков и толкователей не только более спокойных, но иногда и более проницательных, чем мы, участники теперешнего спора. Умственное наследство, оставленное Данилевским, без сомнения, принесет прекрасные плоды.

9 ноября,

Н. СТРАХОВ.

Дозволено цензурою. С-Петербург, 12 Декабря 1889 года.

Типография Товарищества «Общественная Польза», Большая Подъяч., 39.